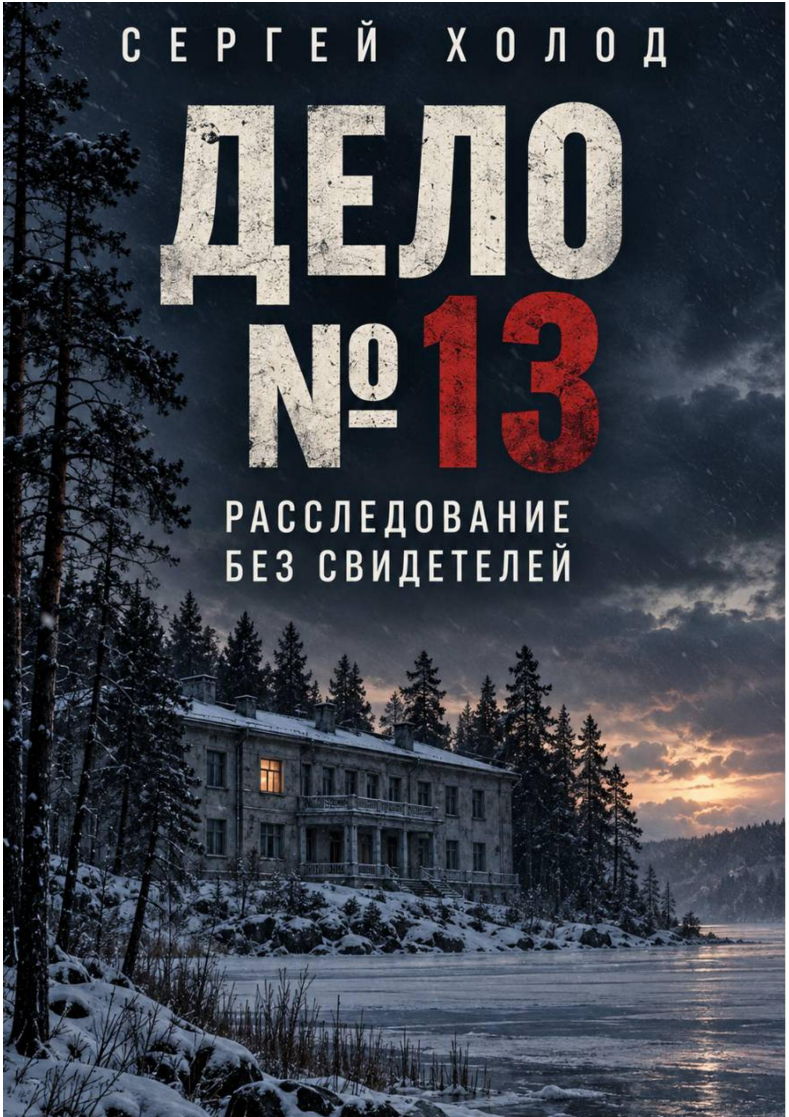
СЕРГЕЙ ХОЛОД

ДЕЛО №13

РАССЛЕДОВАНИЕ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ



Сергей Холод

Дело 13. Расследование без свидетелей

https://litres.ru/74708739
SelfPub; 2026

Аннотация

Дверь заперта изнутри. Окно заклеено на зиму. Комната пуста.

В затерянном среди карельских лесов санатории исчезает Вера Лосева — реставратор, приехавшая разбирать старый архив. Метель стирает следы, а обитатели «Белого ключа» явно знают больше, чем готовы рассказать следователю Гордееву.

Незадолго до исчезновения Вера нашла документы о гибели своей матери. Сорок лет назад её смерть признали несчастным случаем. Теперь в показаниях и архивных записях обнаруживаются противоречия. Кто-то хочет раскрыть давнюю тайну. Кто-то готов на всё, чтобы она осталась похороненной.

Тринадцать материалов дела — письма, схемы, фотографии и переписка — окажутся и в ваших руках. Изучайте улики, сопоставляйте показания и проверяйте свои версии в трёх точках расследования.

Сумеете ли вы разгадать дело 13 раньше следователя?

Содержание

Об этой книге 4
Пролог. Вера 5
Часть первая. Комната 7
Материал дела М1. Заявление о пропаже 11
Глава 2. Комната № 13 16
Материал дела М2. План комнаты № 13 19
Материал дела М3. Фото комнаты 21
Глава 3. Белая сестра 24
Материал дела М8. Журнал обхода сторожа 28
1986. Лидия. Март 37
Глава 4. Погранзона 42
Глава 5. Письма без подписи 53
Материал дела М5. Три анонимных письма 57
Глава 6. Оттиск 62
Материал дела М4. Оттиск записки 63
1986. Тамара. Чужие ампулы 74
Глава 7. Звонок из Петрозаводска 79
Конец ознакомительного фрагмента. 87

Сергей Холод
Дело 13. Расследование без свидетелей

Об этой книге

Вместе со следователем вы получите тринадцать материалов дела. Иллюстрации — художественные реконструкции документов, схем и фотографий из истории. Рядом сохранены текстовые расшифровки и описания значимых деталей: их можно читать, если мелкие записи на изображении неудобно рассматривать.

В трёх точках расследования можно остановиться и записать свою версию. «Разгадку следователя» в конце книги лучше читать после эпилога.

Пролог. Вера

23:12.

Телефон завибрировал на столе, рядом с остывшим чаем. Вера посмотрела на экран и взяла трубку не сразу.

— Не спишь, — сказал голос. Не вопрос. — Она согласилась. Сегодня, в половине двенадцатого. В эллинге.

— Сейчас ночь.

— Поэтому и сейчас. Днём она не придёт. Она боится.

— Чего?

— Его. — Пауза. — Никому не говори. Ему особенно.

Гудки.

На ноутбуке был открыт скан учётной карточки. Сырость съела край, чернила расплылись, но фамилия читалась. Сорок лет карточка пролежала в подвале. Сорок лет её никто не открывал. Это было не трудно: никто и не хотел.

Вера закрыла крышку ноутбука, потом открыла снова. На заставке была мать. Чёрно-белая, с волнистым краем, у этого самого озера. Пальто с поясом, прищур от солнца. На обороте снимка, Вера помнила наизусть: «Светлое, 1986. Скоро домой».

Скоро не наступило.

Она встала и задвинула засов. Позавчера кто-то трогал её блокнот. Сдвинул на пять сантиметров и не вернул. С тех пор она запиралась, даже когда шла в душ в конец коридора.

Глупо. Но засов был тяжёлый, кованый, и рука на нём переставала дрожать.

Одеваться пришлось в темноте, при свете экрана. Два свитера, куртка, шарф. Фонарь в карман. Телефон в другой.

Она выключила экран. Постояла в темноте, слушая, как метель скребёт по стеклу.

В половине восьмого утра в эту дверь постучат, и никто не ответит. В семь сорок её взломают монтировкой, вместе с куском косяка.

Засов будет задвинут.

Комната будет пуста.

Часть первая. Комната
Глава 1. Засов изнутри

Метель шла от самой Сортавалы. Шла за машиной, не отставая, как собака, которой нечего терять.

К «Белому ключу» Гордеев подъехал в половине одиннадцатого. Утром это назвать было нельзя. Серый свет без источника, без теней. Корпус над озером стоял тёмный. Горело одно окно, на втором этаже.

Позже он узнает, чьё это окно. Сейчас он думал о другом: сорок три дня без сигарет. Самое бессмысленное, что он сделал за год. А год был богатый.

У ворот мёрз «уазик», занесённый по ступицы. Рядом, притопывая, стояла девушка в форменной куртке не по размеру. Увидела машину и подняла руку. Как будто он мог проехать мимо единственного здания на двадцать километров.

Он опустил стекло. В салон влетел снег.

— Ушакова. Участковый, — сказала она. — Мы с восьми ждём.

— Садитесь.

Она села, стряхнула шапку себе на колени и заговорила сразу, глядя прямо перед собой, как на докладе.

— Заявление в семь пятьдесят две. Звонила Брагина Нина Аркадьевна, администратор, дочь директора. Пропала го-

стья. Лосева Вера Сергеевна, сорок один год, Москва, реставратор, разбирала архив. К завтраку не вышла. Дверь заперта изнутри на засов. Дверь сломали, внутри пусто. Я на месте с восьми сорока. Территорию осмотрела. — Она кивнула на белое за стеклом. — Следов нет. Всё замело.

Аллея. Бетонные вазоны под снегом. На постаменте гипсовые ноги. Остальное от героя кто-то давно разбил.

— Кто в здании?

— Трое. Директор Брагин Аркадий Семёнович. Дочь. И сторож, Куликов Степан, но он живёт отдельно, в сторожке у леса. Санаторий с октября закрыт. Персонал до весны распущен.

— Посторонние?

— Погранзона. Посторонних нет.

Она сказала это как закон природы. Гордеев промолчал.

Она знала, кто он. Он видел это по тому, как она не смотрела в его сторону. Такие истории ходят по районам быстрее приказов. Год работы над убийством на лесопилке. Суд. Единственный свидетель за неделю до заседания вспоминает, что был пьян и ничего не видел. Оправдательный приговор. Следователя переводят в Сортавалу. Формулировка: «для усиления».

Ушакова, надо отдать ей должное, ничего не сказала.

Холл пах хлоркой и остывшими батареями. Из двенадцати лампочек в люстре горели три. На стене мозаика: женщи-

на в белом халате протягивает солнцу чашу. У её ног шахтёры, пионеры, олень. Олень смотрел с укором.

Их ждали двое.

Брагин. Высокий, сухой, седая бородка подстрижена аккуратно, как газон у администрации. Шерстяной жилет. Домашние тапочки, которые он прятал за ножку кресла. Руку пожал крепко, слишком крепко. Заговорил первым.

— Чудовищно. Сорок лет здесь, и ничего подобного.

— Сорок лет?

— Сорок два работаю. Тридцать руковожу. Это не имеет значения. Вера Сергеевна деликатный, тихий человек. Ночью, в метель… Она даже озера не знает.

Рядом стояла женщина лет тридцати. Светлые волосы, серый свитер, кружка в обеих руках. Глаза красные. Сейчас не плакала. Недавно плакала.

— Нина, — сказала она и протянула свободную руку. Холодную. — Это я звонила. Надо было раньше, ночью. Я думала, она спит.

— Расскажите.

Она рассказала. Гордеев слушал её и смотрел на отца. Брагин стоял, сцепив руки за спиной, и коротко кивал на каждой фразе. Как экзаменатор, который проверяет выученный билет.

Около одиннадцати Нина занесла Вере чай, как каждый вечер. Говорили недолго: погода, архив. Вера выглядела усталой. Не встревоженной. Утром в половине восьмого Ни-

на постучала. Тишина. Дверь не поддалась.

— Я позвала папу. Стучали, кричали. Папа принёс из подсобки монтировку. — Пауза. — Внутри никого.

— Окна?

— Заклеены с октября. Бумага целая. Я посмотрела первым делом.

— Заходили?

— До порога. Дарья сказала не трогать.

Ушакова за его спиной не изменилась в лице. Это ему понравилось.

Он попросил Нину написать всё на бумаге. Она долго искала ручку. Уронила. Подняла. Писала медленно, круглым почерком отличницы, и время от времени поднимала глаза, будто проверяла по нему, правильно ли.

Материал дела М1.
Заявление о пропаже

Начальнику ОМВД России по Сортавальскому району от Брагиной Нины Аркадьевны, администратора санатория «Белый ключ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меры к розыску Лосевой Веры Сергеевны, 1985 г. р., проживавшей в санатории «Белый ключ» в комнате № 13 с 3 ноября.

Последний раз я видела Лосеву В. С. вчера около 23:00, когда занесла ей чай. Она была в комнате одна, жалоб не высказывала. После этого я ушла к себе и легла спать.

Сегодня в 07:30 Лосева не ответила на стук. Дверь была заперта изнутри на засов. Около 07:40 мы с отцом, Брагиным А. С., взломали дверь. В комнате Лосевой не оказалось. Её куртки и обуви на месте нет.

Брагина Н. А.

Описание оригинала. Бланк заявления, заполненный от руки круглым почерком.

Начальнику ОМВД России по Сортавальскому району от

Брагиной Нины Аркадьевны, администратора санатория «Белый ключ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меры к розыску Лосевой Веры Сергеевны, 1985 г. р., проживавшей в санатории «Белый ключ» в комнате № 13 с 3 ноября.

Последний раз я видела Лосеву В. С. вчера около 23:00, когда занесла ей чай. Она была в комнате одна, жалоб не высказывала. После этого я ушла к себе и легла спать.

Сегодня в 07:30 Лосева не ответила на стук. Дверь была заперта изнутри на засов. Около 07:40 мы с отцом, Брагиным А. С., взломали дверь. В комнате Лосевой не оказалось. Её куртки и обуви на месте нет.

Брагина Н. А.

Гордеев прочёл дважды. Сложил вчетверо.

— Вы были близки?

— Подружились. — Тень улыбки. — Зимой здесь не с кем дружить. Две недели, а как будто всю жизнь.

— Её что-то беспокоило?

Нина помолчала.

— Она сидела в архиве до ночи. Как будто искала что-то. Я не спрашивала. Это её работа.

Брагин кашлянул.

— Архив с пятьдесят второго года. Истории болезней, приказы, сметы. Оцифровка по договору с музеем. Если вы предполагаете, что её что-то взволновало в документах, то

там нечему волновать. Сухая материя.

Никто ничего не предполагал. Гордеев отметил это и промолчал.

Комната № 13. Второй этаж, конец коридора. Дверь приоткрыта, вокруг засова вывороченная щепа. Засов кованый, толщиной в палец. Изнутри задвигается одной рукой. Снаружи не возьмёшь ничем, кроме лома.

Гордеев встал на пороге и не входил. Сначала смотреть. Трогать потом. Первое, чему учат, и последнее, что забывают.

У Ушаковой зазвонил телефон. Она отошла к окну, послушала, сказала «Да. Поняла» и вернулась. Лицо у неё было такое, будто ей сообщили о смерти дальнего родственника.

— Дежурная. Зарегистрировали. Розыскное дело номер тринадцать.

— И?

— Ничего. Нумерацию в ноябре обнулили.

Она смотрела мимо него, в окно, на озеро.

— Договаривайте.

— Здесь говорят, что тринадцатые дела в районе закрываются одинаково. Без свидетелей. — Она сказала это ровно, без выражения, как зачитывают сводку. — В восемьдесят шестом в этом санатории утонула пациентка. Дело номер тринадцать. В девяносто девятом пропал рыбак. Тринадцать. В две тысячи одиннадцатом…

— Ушакова.

— Я не верю. Вы спросили, я ответила.

Он не ответил. Он смотрел в окно в конце коридора.

Метель на минуту стихла, будто переводила дыхание. Озеро открылось целиком. Плоское, белое, вдоль берега чёрная полоса открытой воды, лёд ещё не встал. Справа у кромки деревянный сарай. Эллинг. Между эллингом и лесом стоял человек в длинном ватнике и смотрел на окно.

На него.

Пять секунд. Потом человек развернулся и пошёл к лесу. В снегу за ним оставалась глубокая борозда.

— Кто?

— Степан. Сторож.

— Он всегда так смотрит?

— Он на всё так смотрит.

Метель сомкнулась. Озеро исчезло, будто его не было.

Глава 2. Комната № 13

В комнате было тепло. Сухой неподвижный воздух, как в читальном зале. Бумага, растворимый кофе, немного лаванды. Потом он найдёт на полке в душевой крошечный флакон с маслом. Флакон запомнится ему лучше всего остального. Так бывает.

Перчатки. Бахилы.

— Рисуйте, — сказал он Ушаковой.

— Я не умею.

— Никто не умеет. Дверь, окно, мебель. Расстояния шагами.

Она села на корточки у порога и открыла блокнот.

Дверь. Засов цел, если не считать, что его вырвали вместе с куском косяка. Задвижка сидит в скобе намертво. Ни царапин снаружи, ни следов проволоки, нитки, магнита. Щели нет: тяжёлая старая дверь входит в коробку, как пробка в горлышко. Через такую ничего не просунешь.

Окно. Одна створка, двойная рама. Серые бумажные полоски по всем щелям, мучной клейстер, местами пожелтевший. Целые. Ни надрыва, ни складки. Ручки вниз. На шпингалетах пыль. Окно не открывали с октября.

Вентиляция под потолком: двадцать на двадцать. Кошке тесно.

— Шкаф отмечать?

— Всё.

Встроенный шкаф в углу у окна. Филёнчатые дверцы, крашенные столько раз, что рисунок дерева исчез. Два платья, юбка, рубашка на плечиках. Наверху одеяла с запахом нафталина. Нижняя полка пуста. Казённое бельё с неё, простыни и наволочки со штампом «Белый ключ», лежало кучей на полу шкафа. Будто выдернули второпях.

— Искала что-то, — сказала Ушакова.

— Или кто-то искал.

Под бельём ничего. Задняя стенка коричневая, как дверцы. Гордеев постучал костяшками. Глухо, фанера по стене. Закрыл дверцы.

Потом, много дней спустя, он будет возвращаться к этой минуте. Надо было не стучать, а надавить. Но потом всегда видно лучше.

Кровать заправлена. Покрывало натянуто, подушка взбита. Она не ложилась.

На стуле кардиган. Под стулом тапочки, носками к стене, аккуратно. Человек, который так ставит тапочки, не уходит в метель без причины.

— Обувь?

— Нет. И куртки нет.

На вешалке у двери одна холщовая сумка. Кошелёк, три тысячи, банковская карта. Паспорт. Связка ключей с брелоком-совой.

— Деньги и документы на месте, — сказала Ушакова. — Не уехала.

— Отсюда не уедешь.

Письменный стол. Ноутбук открыт, в сети. Два толстых блокнота, карандаши, лупа, нитяные перчатки, бумажный скотч, пачка крафтовых конвертов. Чашка с остатком чая под мутной плёнкой. Зарядка телефона в розетке. Телефона нет. Ни на столе, ни в сумке, ни в карманах кардигана.

— Телефон взяла. Собиралась звонить. Или ждала звонка.

— Я звонила ей с утра. Недоступен.

Он тронул тачпад. Экран блокировки, пароль. На заставке старый чёрно-белый снимок: молодая женщина в пальто с поясом на берегу озера, щурится от солнца. За спиной край здания с колоннами.

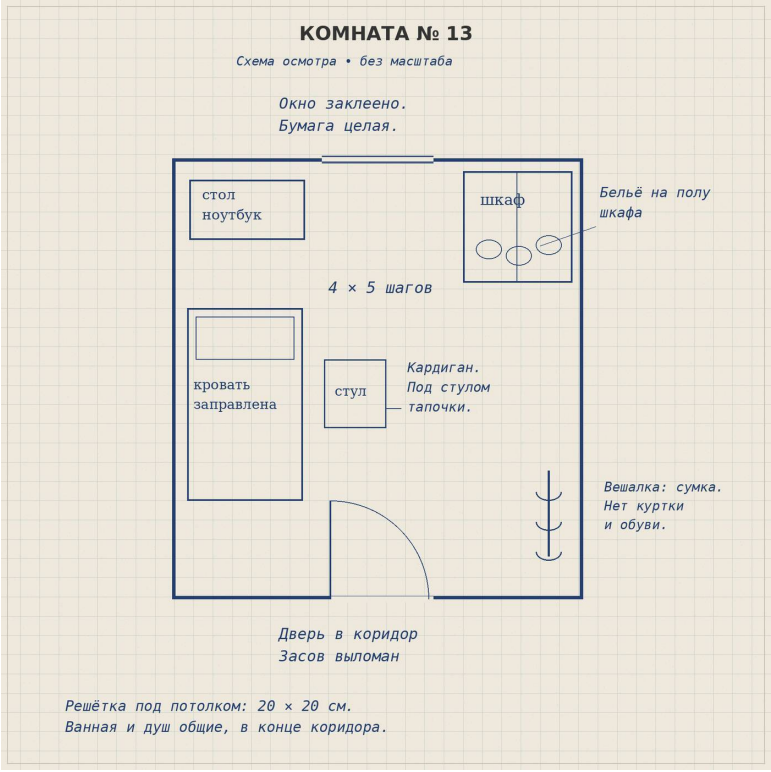
— Здесь снято.

— Похоже. Корпус. Деревья маленькие.

— Сфотографируйте.

Она сфотографировала. Потом всё остальное: стол, кровать, шкаф с бельём на полу, вешалку, окно, засов. Двадцать восемь снимков. Один, общий план с порога, Гордеев потом подошьёт в дело.

Материал дела М2.
План комнаты № 13



Описание схемы. Схема, нарисованная от руки в блокноте участкового.

Прямоугольная комната, 4 × 5 шагов. Дверь в коридор посередине короткой стены, засов изнутри (выломан). Напротив двери окно, заклеено на зиму, бумага целая. Слева от окна письменный стол, ноутбук, блокноты. Справа от окна, в углу, встроенный шкаф с двумя дверцами («бельё на полу шкафа»). Вдоль левой стены кровать (заправлена), стул (кардиган, тапочки). Вдоль правой стены вешалка у двери (сумка, нет куртки и обуви). Под потолком вентиляционная решётка 20 × 20 см. Пометка: «Ванная и душ в конце коридора, общие».

Материал дела М3. Фото комнаты



Описание фотографии. Снимок с порога. Видны заправленная кровать, стул с кардиганом, под ним тапочки, открытый ноутбук на столе, приоткрытая дверца шкафа и белая куча белья внизу, пустая вешалка у двери.

Коридор. Он снял перчатки. Без четверти час.

— Итог. Не ложилась. Оделась тепло, взяла телефон, ушла. Деньги и паспорт оставила: недалеко и ненадолго.

Дверь на засове изнутри. Окно заклеено. Третьего выхода нет.

— Значит, ушла раньше, чем заперли.

— Кто запер? Изнутри? А потом вышел сквозь стену?

Ушакова промолчала.

— Или Брагина ошибается насчёт засова, — сказал он. — Или врёт.

— Я видела засов. Задвинут. Его с косяком вырвали.

— Вы видели в восемь сорок. Ломали в семь сорок. Час.

Она нахмурилась. Не обиделась. Думала.

— Чтобы задвинуть, надо быть внутри. Потом ломать при отце. Сложно. И зачем?

— Не знаю. Я пока ничего не знаю.

Окно в конце коридора. Метель стеной. За ней озеро с чёрной полосой воды у берега. О воде он старался не думать. Получалось плохо.

— Кинологи, водолазы, МЧС.

— Звонила. Трасса закрыта до утра. Вертолёт не поднимут, видимость ноль.

— Значит, сами. Берег, эллинг, постройки. Сторожка.

— Степан не любит, когда к нему заходят.

— Никто не любит.

У лестницы ждала Нина. Пуховик, тяжёлые сапоги, два термоса.

— Вы ведь пойдёте искать. Там чай. Можно с вами? Я тут

выросла. Знаю каждую тропу.

Термос был горячий. От этого стало немного легче, и это ему не понравилось.

— Можно. Вы знаете эту женщину?

Он показал снимок экрана. Нина смотрела долго.

— Нет. Кто-то из её семьи, наверное. Она о себе не рассказывала. Только о работе. Это у нас снято. Вон корпус.

На лестнице показался Брагин. Спускался медленно, держась за перила. Гордеев развернул к нему телефон.

— Аркадий Семёнович. А вы?

Брагин посмотрел. Секунду, не больше.

Рука соскользнула с перил. Он оступился. Нина успела поймать его под локоть. Брагин выпрямился, одёрнул жилет и сказал ровным, совершенно спокойным голосом:

— Нет. Не узнаю. Давление. Ступени крутые. Я прилягу.

Он пошёл наверх, держась за перила обеими руками.

Нина смотрела ему в спину. Потом на Гордеева. Как ребёнок, которого оставили посреди улицы.

— У папы правда давление. Год уже.

— Верю.

Он не верил. Это было единственное за весь день, в чём он не сомневался.

Глава 3. Белая сестра

Искали до темноты. Темнота пришла в половине четвёртого.

Нина шла первой. Она действительно знала каждую тропу: где под снегом канава, где бетонная плита, где корень. Шла молча, только иногда звала. «Вера!» Ветер забирал голос, едва тот выходил изо рта. Ушакова шла последней и тоже звала. Гордеев не звал. Смысла не было, и все трое это понимали.

Обошли корпус. Котельную, запертую на висячий замок, нетронутый. Гараж. Летнюю веранду с горой сложенных шезлонгов. Пустой бассейн под снегом, в котором стояла по колено чья-то брошенная лопата.

Потом спустились к озеру.

Эллинг был закрыт. Не на замок, на деревянную вертушку снаружи. Дверь примёрзла, Гордеев рванул её плечом. Внутри полумрак и холод, сырее, чем снаружи. Перевёрнутые лодки на козлах, вёсла вдоль стены, канистры, верёвки, сети. Пахло смолой и бензином. На полу у порога ровный снежный язык, который намело в щель. На нём ничьих следов.

Мостки уходили от широкого проёма прямо в воду. Метра четыре досок над чёрной водой. Вода у конца мостков уже схватилась тонким серым льдом, мутным, как бельмо.

Гордеев прошёл по мосткам до края. Доски скрипели. На самом краю, на углу последней доски, светлела свежая щепа. Маленькая, с ноготь. Как будто кто-то ударил по краю чем-то тяжёлым. Или чем-то твёрдым ударился.

Он присел. Посмотрел на лёд под краем. Лёд был ровный, только у самых свай шла неровная полоса, будто там недавно была полынья и замёрзла позже, чем всё остальное. Может быть, так. Может быть, нет. Лёд не протокол, его не допросишь.

— Что там? — спросила Нина. Она стояла у двери и дальше не шла.

— Ничего. Щепа.

— Тут всё в щепе. Мостки старые. Папа каждый год говорит, что их надо менять.

Он выпрямился. Нина смотрела не на него. Она смотрела на воду под мостками. Потом отвернулась.

— Тут холодно, — сказала она. — Пойдёмте.

Ушакова сфотографировала щепу, мостки, лёд, перевёрнутые лодки. Гордеев запомнил: в эллинге не было фонаря. Ни одного. Вёсла, сети, канистры, а фонаря нет. Он подумал, что это ничего не значит. Подумал ещё раз. Ничего не значит.

Сторожка стояла на опушке, в трёхстах метрах от корпуса. Бревенчатый дом в два окна, высокое крыльцо, поленница под навесом, сложенная так ровно, что её хотелось измерить

линейкой. Из трубы шёл дым. Ветер прижимал его к крыше.

Нина осталась у калитки.

— Он меня не любит, — сказала она без выражения. — С детства.

Гордеев постучал. Ждал долго. Постучал снова.

Дверь открылась на ширину ладони. В щели было лицо. Широкое, обветренное, тяжёлое. Глаза светлые, почти белые, как у северных собак. Седая щетина. Ватник, под ним тельняшка.

— Куликов Степан?

— Ну.

— Следователь Гордеев. Ищем Лосеву. Гостью санатория. Вы её знаете?

— Видел.

— Когда в последний раз?

Степан подумал. Видно было, что думает он не над ответом, а над тем, нужно ли отвечать.

— Позавчера. В столовой.

— А вчера ночью?

— Ночью я на обходе.

— Во сколько?

— По журналу.

Из щели тянуло теплом. Печью, дымом и ещё чем-то. Аптечным. Камфорой, что ли. Или спиртом.

— Можно войти?

— Нет.

Он сказал это просто, без грубости. Как говорят «дождь».

— Я могу вернуться с постановлением.

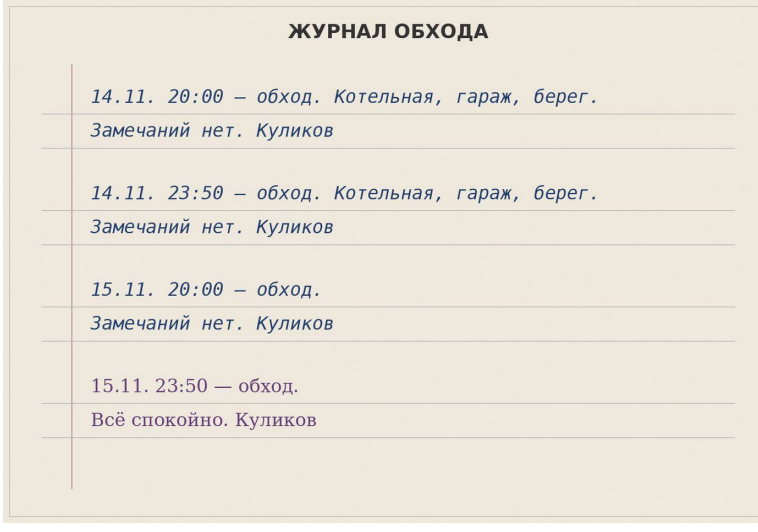
— Возвращайтесь.

Гордеев посмотрел на него. Степан смотрел в ответ, ровно и спокойно. Так смотрит человек, которому нечего терять. Или человек, который давно уже всё потерял.

— Журнал покажите.

Дверь закрылась. Через минуту открылась снова, на ту же ширину. Из щели высунулась толстая амбарная книга в коленкоровом переплёте. Гордеев открыл на закладке.

Материал дела М8.
Журнал обхода сторожа


ЖУРНАЛ ОБХОДА

14.11. 20:00 — обход. Котельная, гараж, берег.
Замечаний нет. Куликов

14.11. 23:50 — обход. Котельная, гараж, берег.
Замечаний нет. Куликов

15.11. 20:00 — обход.
Замечаний нет. Куликов

15.11. 23:50 — обход.
Всё спокойно. Куликов

Описание оригинала. Разворот амбарной книги, записи от руки. Все записи синей шариковой ручкой, последняя запись за ночь исчезновения сделана заметно более тёмными, фиолетовыми чернилами и более ровным почерком.

14.11. 20:00 — обход. Котельная, гараж, берег. Замечаний нет. Куликов 14.11. 23:50 — обход. Котельная, гараж,

берег. Замечаний нет. Куликов 15.11. 20:00 — обход. Замечаний нет. Куликов 15.11. 23:50 — обход. Всё спокойно. Куликов

[В последней строке «Всё спокойно» вместо обычного «Замечаний нет».]

Гордеев долго смотрел на последнюю строку. Цвет чернил был другой. Не синий, фиолетовый. Почерк ровнее, буквы аккуратнее, будто писали не на морозе в рукавицах, а за столом, в тепле, не торопясь.

— Вы всегда пишете «замечаний нет».

— Ну.

— А тут «всё спокойно».

Степан пожал плечами.

— Ручка кончилась. Взял другую.

— И слова тоже кончились?

Молчание. Потом:

— Метель была. Спокойно было.

Гордеев сфотографировал страницу и вернул книгу.

— Я вернусь.

— Возвращайтесь, — повторил Степан. И закрыл дверь.

У калитки Нина стояла, обхватив себя руками.

— Видите? — сказала она. — Он со всеми так.

— Он всегда жил один?

— Всегда. Мама у него была поварихой в санатории. Умерла давно. Он во флоте служил, водолазом. Вернулся и устроился сторожем. Папа говорит, он хороший сторож. Ни-

чего не пропадает.

— Кроме людей.

Нина вздрогнула. Ушакова посмотрела на Гордеева так, что ему стало немного стыдно. Немного.

Кабинет директора был на первом этаже. Тёмные шкафы, грамоты в рамках, бюст неизвестного профессора с отбитым носом. Пахло корвалолом. На столе стояла фотография в серебряной рамке: Брагин молодой, в белом халате, на ступенях корпуса, рядом медсёстры, все улыбаются в объектив.

Брагин сидел за столом прямо, сложив руки. Давление, видимо, отпустило.

— Женщина на заставке, — сказал Гордеев. — Вы её узнали.

— Я ничего не узнал. Мне стало дурно. В моём возрасте это бывает.

— Снимок сделан здесь.

— Здесь за семьдесят лет сделаны тысячи снимков. Через санаторий прошли десятки тысяч пациентов. Вы полагаете, я помню каждое лицо?

— Я полагаю, что вы помните это.

Брагин помолчал.

— Молодой человек. Я сорок два года лечу людей. Некоторые из них умерли. Это неизбежно в медицине. Если вы хотите спросить меня о каждом, у вас кончится командировка.

— Я не говорил, что она умерла.

Пауза была короткой. Совсем короткой.

— Вы сказали «помните». Я врач. Помнят тех, кого потеряли.

Хорошо ответил. Гордеев признал это про себя, как признают хороший удар в споре.

— Где вы были вчера ночью?

— Спал. Я лёг в половине одиннадцатого. Я принимаю снотворное, рецепт в аптечке, можете проверить. Нина пожелала мне спокойной ночи и ушла к себе. До утра я ничего не слышал.

— Чем занималась Лосева в архиве?

— Оцифровкой. Я уже говорил.

— Чего она искала?

— Это вопрос к ней.

— Её нет.

— Тогда ни к кому.

Гордеев встал. У двери обернулся.

— Белая сестра. Кто это?

Брагин впервые за весь разговор улыбнулся. Тонко, сухо.

— Деревенская сказка. Женщина в белом, которую видят на льду в метель. Её придумали в восемьдесят шестом, когда здесь случилось несчастье. Пациентка вышла ночью на лёд и провалилась. Трагедия. Но деревне нужно было чудо. Деревне всегда нужно чудо.

— Вы тогда здесь работали.

— Я тогда здесь работал. Как и сейчас. Спокойной ночи, Илья…

— Андреевич.

— Спокойной ночи, Илья Андреевич.

Нина ждала его в холле. С ключами в руке. Большая связка на медном кольце, с картонными бирками.

— Я подумала, вам надо знать, где что, — сказала она. — Корпус большой. Можно заблудиться. Я покажу.

Он мог отказаться. Не отказался.

Они шли по пустым коридорам, и Нина включала свет перед собой и выключала за спиной. Экономия, сказала она. Счета за электричество как за маленький завод. Свет вспыхивал впереди, жёлтый, мигающий, и гас позади, и они шли в маленьком островке света через огромный тёмный дом, как через ночное море.

Танцевальный зал. Паркет ёлочкой, вздувшийся от сырости. Пианино «Красный Октябрь» в углу, накрытое простынёй. Нина подняла край простыни, нажала клавишу. Звук вышел глухой, расстроенный, похожий на стон.

— Здесь по субботам были танцы, — сказала она. — Мама танцевала с папой. Я сидела вон там, на подоконнике, и смотрела. Мне было шесть. Мама была очень красивая.

Зимний сад. Стеклянная крыша, засыпанная снегом. Кадки с мёртвыми пальмами, сухие стволы, коричневые листья на полу. Фонтан посередине, пустой, с ржавой рыбой, кото-

рая когда-то пускала изо рта воду.

— Пальмы умерли в двенадцатом году, — сказала Нина. — Отопление отключили на неделю, авария. Папа неделю ходил сюда, сидел. Как на кладбище.

Коридор первого этажа. Стена с фотографиями. Десятки чёрно-белых снимков в одинаковых рамках, в ряд, от двери до двери. Отдыхающие на веранде. Сотрудники на ступенях. Новогодний утренник. Субботник. Каждая рамка подписана снизу. «1956». «1963». «1971».

Гордеев остановился у одной. «1985. Коллектив санатория». Человек сорок, в три ряда на ступенях главного входа. В центре старик-главврач с орденами. Справа от него молодой, светловолосый, с бородкой, в расстёгнутом халате. Брагин. Улыбается. Во втором ряду, с краю, высокая крупная медсестра. Не улыбается.

— Это кто? — Он показал.

Нина наклонилась.

— Не знаю. Кто-то из старых. Папа всех знает, спросите его.

Чуть дальше, отдельно, в рамке побольше, цветная фотография. Женщина лет тридцати пяти в белом халате, на фоне сосны. Тёмные волосы. Нинины серые глаза.

— Мама, — сказала Нина. Тихо. — Две тысячи пятый. Год до.

Она постояла у фотографии. Потом выключила свет. И они пошли дальше в темноте, до следующего выключателя.

Второй этаж. Длинный коридор, двери по обе стороны. Номера на латунных табличках. Нина шла впереди, открывая перед ним двери, показывая. Пятая, гостевая, тут будет Олег, если приедет. Седьмая, ваша. Девятая, кладовая. Одиннадцатая, бельевая.

В конце коридора, у торцевой стены, была тринадцатая. Дверь на одной петле, вывороченная щепа. Свет туда не доставал.

Нина остановилась. За два шага до неё. Будто наткнулась на невидимую стену.

Он подошёл и встал рядом.

— Что?

— Ничего. — Она смотрела на дверь. — Глупость. Я туда не хожу.

— Почему?

Она помолчала. Потом невесело усмехнулась.

— Папа в детстве сказал, что там живёт Белая сестра. Забирает детей. Мне было лет пять. Я поверила. И до двадцати лет в этот конец коридора вообще не ходила. Ни разу. Даже когда мама просила отнести туда бельё. Плакала, но не шла.

— А потом?

— А потом приехала Вера. И попросила именно тринадцатую. Я её отвела. Встала на пороге, вот как сейчас, и не могла войти. А она засмеялась и сказала: «Нина, это же просто комната». — Нина замолчала. Потом добавила совсем

тихо: — Я вошла. Первый раз в жизни. В двадцать девять лет.

Она стояла в двух шагах от двери, обхватив себя руками.

— Смешно, да?

— Нет, — сказал он.

Она посмотрела на него. В темноте он не видел её глаз. Только светлое пятно лица.

— Найдите её, Илья Андреевич, — сказала она. — Пожалуйста.

Потом развернулась и пошла назад, к лестнице, включая перед собой свет.

Он постоял ещё минуту в темноте перед тринадцатой. Смотрел на чёрный проём двери. Ничего не думал. Потом пошёл за ней.

Ему отдали седьмую комнату, в другом конце коридора. Такая же, как тринадцатая. Тот же засов. Тот же встроенный шкаф. Он открыл шкаф и долго смотрел на пустые полки. Потом закрыл.

Сон не шёл. Он лежал и слушал, как дом остывает, как стонут трубы, как где-то капает. В половине второго встал, подошёл к окну. Метель кончилась. Небо очистилось, и над озером висела луна, белая и плоская, как пятак.

На льду горел огонёк.

Далеко, у самого эллинга, может быть, ближе к чёрной полосе открытой воды. Маленький, жёлтый. Огонёк двигался

медленно. Остановился. Опустился, будто тот, кто его держал, присел. Постоял так. Потом поднялся и пошёл назад, к берегу, к лесу.

Погас.

Гордеев стоял у окна и считал. Две минуты одеться. Три спуститься. Пять до берега по сугробам. Десять минут. Там никого уже не будет.

Он всё равно оделся.

На берегу никого не было. Луна светила так, что можно было читать. От эллинга вдоль берега к лесу шла цепочка следов. Глубоких, тяжёлых, широко поставленных. Мужских. Цепочка уходила в ельник, к опушке, где стояла сторожка. Окна в сторожке не горели.

А на мостках, у самого края, у новой щепы, лёд был проломлен. Свежая дыра, с кастрюлю, с рваными краями. И вода в ней уже снова затягивалась.

Гордеев постоял над ней. Вода была чёрная и неподвижная. Ничего в ней не было.

По крайней мере, ничего, что он мог увидеть.

1986. Лидия. Март

Автобус от станции шёл два часа. Лидия держала на коленях сумку и смотрела в окно, где ничего не менялось: снег, сосны, снег. Иногда камень, огромный, серый, торчал из сугроба, как лоб утонувшего великана.

Верочку она оставила у мамы. Год и два месяца. На прощание та не плакала. Схватила за пуговицу пальто и не отпускала, и мама разжимала её пальцы по одному. Пуговица потом всю дорогу казалась Лидии тёплой.

Три недели, сказал врач в районной поликлинике. Затемнение в правом лёгком, ничего страшного, но запускать нельзя. Санаторий на Светлом хороший, там сосны, воздух, процедуры. Путёвку дали через профком, бесплатно. Лидия подумала: три недели. Двадцать один день. Можно потерпеть.

Корпус открылся из-за поворота сразу весь. Белый, с колоннами, над белым озером. Как торт на скатерти. Лидия даже засмеялась, одна в пустом автобусе.

Регистрировала её медсестра. Высокая, плотная, в накрахмаленной шапочке, с таким лицом, будто ей с утра никто не сказал ничего хорошего и до вечера не скажет. Тамара Ильинична. Ей было, наверное, лет тридцать, а казалось, все пятьдесят.

— Режим, — сказала Тамара Ильинична и подвинула листок. — Подъём в семь, отбой в десять. После отбоя из корпуса не выходить. На лёд не выходить никогда. Озеро здесь коварное, ключи бьют со дна, лёд над ними тонкий даже в марте. Каждый год кто-нибудь из деревенских проваливается.

— Я и не собиралась.

— Все не собираются.

Лидия расписалась.

Комната была на втором этаже. Номер тринадцать. Лидия посмотрела на цифры на двери и решила, что ей всё равно. Она была комсомолка и не верила в номера. Окно выходило на озеро. Белое, плоское, до самого горизонта, где темнела полоса леса.

Доктор пришёл вечером. Молодой, может, чуть старше её. Высокий, светловолосый, с аккуратной бородкой, которая делала его похожим на земского врача из старого фильма. Халат расстёгнут, под ним свитер. Он сел на край стула, а не на стул, будто зашёл на минуту и сейчас уйдёт.

— Брагин, Аркадий Семёнович. Можно просто Аркадий. Я тут самый молодой, меня всё равно никто по отчеству не зовёт.

Он послушал её лёгкие. Руки у него были тёплые, и это почему-то запомнилось.

— Ничего страшного, — сказал он. — Подлечим. Сосны,

процедуры, хорошее питание. Через три недели будете бегать.

— У меня дочка дома. Год.

— Значит, будете бегать за дочкой. — Он улыбнулся. Улыбка у него была быстрая, мальчишеская. — Вы откуда?

— Из Москвы.

— Далеко забрались.

— Путёвку дали сюда.

— Повезло. Здесь лучше, чем в Крыму. Только не говорите никому, а то все приедут.

Он ушёл. Лидия долго сидела на кровати и смотрела на дверь.

Стёпа появился на третий день.

Она сидела на скамейке у входа, на солнце, закутанная в одеяло, как полагалось по режиму. Мальчик стоял в отдалении и смотрел. Лет двенадцать. Валенки, ватник не по росту, шапка с завязанными наверху ушами. Светлые, почти белые глаза.

— Ты чей? — спросила Лидия.

— Поварихин.

— А зовут как?

Он подумал.

— Стёпа.

— Иди сюда, Стёпа. Не бойся.

Он подошёл. Остановился в двух шагах. Вынул руку из

кармана и протянул ей. На ладони лежала горсть тёмно-красных ягод, твёрдых, как камешки, подёрнутых инеем.

— Клюква, — сказал он. — Мороженая. С болота. Её по снегу собирают, она так слаще.

Лидия взяла одну ягоду и положила в рот. Ягода хрустнула, и рот наполнился кислым, холодным, таким резким, что у неё выступили слёзы.

— Сладко, — сказала она.

Стёпа посмотрел недоверчиво. Потом, кажется, впервые за долгое время, улыбнулся.

На следующий день он принёс ещё. А она достала из сумки тетрадку в клетку, огрызок карандаша и нарисовала ему озеро. Корпус с колоннами. Мальчика на скамейке. Рисовала она плохо, ещё в школе было тройка по рисованию, но Стёпа смотрел на листок так, будто она показывала ему фокус.

— Научить? — спросила она.

Он кивнул.

Они сидели на скамейке, и Лидия показывала, как рисовать сосну: сначала ствол, потом ветки, как лесенку, снизу длинные, наверху короткие. Стёпа рисовал, высунув кончик языка. Сосна выходила кривая, похожая на рыбью кость.

— Хорошо, — сказала Лидия. — Правда хорошо.

В дверях корпуса стояла Тамара Ильинична и смотрела на них. Лидия не знала, сколько она там стояла. Потом медсестра развернулась и ушла внутрь, не сказав ни слова.

Вечером, перед отбоем, Лидия написала маме письмо. Про сосны, про озеро, про доктора, который обещал, что через три недели она будет бегать. Про мальчика с клюквой. В конце написала: «Поцелуй Верочку. Скажи ей, что мама скоро».

Подумала и подчеркнула «скоро» два раза.

За окном садилось солнце. Озеро было розовым, потом лиловым, потом серым. Потом стемнело, и в окне отразилась она сама: худая женщина в больничном халате, с конвертом в руках.

Двадцать один день, подумала она. Уже восемнадцать.

Глава 4. Погранзона

Утром трассу не открыли.

Дежурный в районе сказал: грейдер вышел в шесть, к обеду, может, дойдёт. Может, нет. Водолазы будут, когда будет дорога. Кинологов нет вообще: единственная собака на больничном. Гордеев переспросил. Нет, не ослышался.

Он положил трубку и долго смотрел в окно седьмой комнаты. Озеро после метели было ослепительно белым, плоским, как лист ватмана. Дыру у мостков отсюда видно не было. Следы, которые он ночью видел на берегу, замело утренним ветром. Как будто ничего не было.

Он рассказал о ночи Ушаковой. Коротко, без выводов. Она выслушала и спросила только одно:

— Вы его видели? Того, кто с фонарём?

— Нет. Огонёк. Потом следы.

— К сторожке?

— К лесу. Сторожка в лесу.

Она помолчала.

— Без постановления к нему не войти, — сказала она. — А для постановления нужны основания. Огонёк на льду не основание.

— Я знаю, Ушакова.

— Я просто говорю.

— Вы всё время просто говорите.

Она не обиделась. Записала что-то в свой блокнот. Он заметил, что почерк у неё мелкий, ровный, совсем не такой, как она сама.

До погранзаставы было восемнадцать километров. Ушакова вела «уазик» уверенно, по колее, которую утром пробил лесовоз. Справа лес. Слева лес. Иногда лес расступался, и открывалось болото, белая равнина с редкими кривыми сосенками, похожими на рыбьи кости.

— Вы здесь выросли? — спросил он. Не из вежливости. Надо было о чём-то говорить, чтобы не думать о воде.

— В Хийтоле. Это деревня у санатория, мы туда заедем. Бабушка там. А я в Сортавале, в общежитии.

— Почему участковый?

Она пожала плечами.

— А кем? Тут или в полицию, или на лесопилку, или в Петрозаводск. В Петрозаводск меня не взяли. Пока.

— Пока?

— Я рапорт подала. На перевод в город. В отдел по розыску.

Она сказала это очень ровно. Гордеев понял. Он для неё был не следователь, а шанс. Если дело раскроют, в рапорте будет её фамилия. Если не раскроют, тоже будет. Но по-другому.

Он решил, что не будет ей об этом говорить. Она и так знала.

Застава была три бетонных строения за забором с колючей проволокой и шлагбаум на дороге. Флаг на мачте висел мёртво, ветра не было. Прапорщик в будке пил чай из гранёного стакана в подстаканнике. Подстаканник был с гербом СССР.

Он выслушал их, кивнул и полез в журнал. Журнал был толстый, разлинованный от руки.

— Пятнадцатое. Въезд в зону через наш пост. — Он повёл пальцем по строчкам. — Восемь сорок, лесовоз, Хийтольский леспромхоз, номер такой-то. Одиннадцать двадцать, автолавка, по графику. Тринадцать ноль-ноль, почта. Восемнадцать сорок…

Он остановился.

— Восемнадцать сорок, «Тойота Ленд Крузер», чёрная, госномер такой-то, владелец Ветров Олег Викторович, пропуск разовый, цель поездки: деловая встреча, санаторий «Белый ключ».

Гордеев и Ушакова переглянулись.

— Выезд?

— Выезд через нас не отмечен. Но он мог выехать через Лахденпохскую дорогу, там свой пост, свой журнал. Можете запросить.

— А сам он?

— Ветров? Он тут часто ездит. Землю, говорят, покупает. — Прапорщик отхлебнул чай. — Кто ж тут землю покупает,

в погранзоне. Только тот, кому очень надо.

— Кроме Ветрова, за пятнадцатое и шестнадцатое никто посторонний не въезжал?

— Никто. Все свои. Мы чужих не пускаем. Это же погранзона.

Он сказал это так же, как говорила Ушакова. Как закон природы.

В машине Гордеев сидел молча, пока застава не скрылась за поворотом. Потом сказал:

— Значит, нас было пятеро. Брагин, Брагина, Куликов, Ветров. И Лосева.

— А Тамара Ильинична?

— Кто?

— Орлова. Тамара Ильинична. Бывшая медсестра санатория. Она живёт в Хийтоле, через три дома от бабушки. Ей семьдесят четыре. Она каждый день ходит гулять на озеро. Все её знают.

— Шесть, — сказал Гордеев. — Нас было шестеро.

— Зачем ей?

— Не знаю. Я ещё не знаю, зачем кому-то вообще.

Хийтола была полтора десятка домов вдоль дороги, у самого озера. Бревенчатые, тёмные, некоторые с заколоченными окнами. Магазин с вывеской «Продукты», пустой. Почта, закрытая. На берегу перевёрнутые лодки под снегом.

Бабушка Ушаковой жила в крайнем доме, синем, с белы-

ми наличниками. Маленькая, сухая, в платке, повязанном по-старинному, узлом надо лбом. Звали её Анни Матвеевна. Внучку она поцеловала в обе щеки, Гордееву кивнула, оглядела с головы до ног и что-то сказала по-карельски.

— Что она сказала?

— Что вы худой, — ответила Ушакова и почему-то покраснела. — И чтобы садились, сейчас будут калитки.

Калитки оказались пирожками из ржаного теста с картошкой. Ели их горячими, с маслом, с молоком из глиняной кружки. Печь была огромная, белёная, занимала половину избы. На стене тикали ходики с гирькой в виде шишки. Гордеев понял, что впервые за двое суток ему тепло изнутри, а не снаружи.

Ушакова говорила с бабушкой по-карельски, быстро, перебивая друг друга. Потом перешла на русский.

— Бабушка, расскажи про восемьдесят шестой. Про девушку из санатория.

Анни Матвеевна перестала улыбаться.

Она долго молчала. Поправила платок. Посмотрела на Гордеева.

— Зачем ему?

— Он следователь, бабушка. Из санатория человек пропал.

— Знаю. Вся деревня знает. — Старуха вздохнула. — Значит, опять.

— Что опять?

— Опять тринадцатое. Опять из того дома. Опять в метель.

Она помолчала ещё.

— Её звали Лида. Из Москвы. Молоденькая, худенькая, лечить грудь приезжала. Красивая. Весёлая. Ходила в пальто с поясом, по-городскому. Со Стёпкой поварихиным дружила, рисовать его учила. Стёпка за ней хвостом ходил.

Гордеев перестал жевать.

— Пальто с поясом, — повторил он.

— С поясом. Синее. Я помню, потому что у нас таких не носили.

Он достал телефон, нашёл снимок экрана Лосевой. Показал.

Анни Матвеевна поднесла телефон к самым глазам. Смотрела долго.

— Она, — сказала она наконец. — Лида. Вот у этой самой сосны стояла, где лавка. Сосны той уже нет, спилили.

В избе было очень тихо. Тикали ходики.

— Что с ней случилось? — спросил Гордеев.

— Сказали, утонула. Ночью вышла на лёд, провалилась. Нашли утром, у мостков, вмёрзшую. — Старуха перекрестилась. — В простыне.

— В простыне?

— Так говорили. Белая простыня на ней была, как саван. Кто ж ночью в простыне на лёд ходит? Вот тогда и пошло: Белая сестра. Будто это не она утонула, а её сестра белая уве-

ла. Дураки. — Она махнула рукой. — Деревенские дураки.

— А вы что думаете?

Анни Матвеевна посмотрела на него долгим взглядом. Глаза у неё были такие же светлые, как у внучки.

— Я думаю, утопленники так не лежат. Мой отец рыбак был, двоих сам из воды вынимал. Утопленник лежит лицом вниз. А она лежала лицом вверх, руки на груди. Как в гробу.

Гордеев молчал.

— И ещё, — сказала старуха. — Стёпка с той ночи замолчал. Совсем. Два года ни слова никому, даже матери. Врачи из Петрозаводска приезжали, смотрели. Сказали, испуг. Потом заговорил, но мало. Так и сейчас мало говорит. Вы же видели.

— Видел.

— Вот. — Анни Матвеевна поднялась и пошла к печи. — Ешьте калитки. Остынут.

Перед отъездом Ушакова повела его на берег. Не спрашивая, хочет ли он. Просто сказала: «Пойдёмте, покажу», и пошла по тропе между перевёрнутыми лодками, и он пошёл за ней.

Берег у Хийтолы был низкий, каменистый. Под снегом угадывались валуны, круглые, как спины спящих тюленей. Озеро уходило вдаль, белое, и где-то там, за мысом, километрах в трёх, стоял санаторий. Отсюда его было не видно. Только тёмная полоса леса на том берегу.

Ушакова остановилась у большого валуна, расчищенного от снега чьей-то рукавицей. Постояла. Потом сказала:

— Я её видела.

— Кого?

— Белую сестру. — Она сказала это ровно, не оборачиваясь. — Мне было девять. Март. Метель, как сейчас бывает. Я пошла за бабушкиной козой, коза убежала на берег. Вот отсюда смотрела. Метель на секунду разошлась, и я увидела. Там, на льду, далеко, на полпути к санаторию. Женщина. Вся белая. Стоит неподвижно и смотрит в сторону корпуса. Потом метель снова сомкнулась, и её не стало.

Она помолчала.

— Я прибежала домой, ревела. Бабушка послушала, перекрестилась и сказала: так сегодня же двадцать третье. Лидин день. Она каждый год приходит.

Гордеев смотрел на белое озеро.

— Двадцать третье марта, — сказал он.

— Да.

— А следы?

Ушакова обернулась. Посмотрела на него с удивлением. Потом с чем-то похожим на досаду.

— Вот вы какой, — сказала она. — Сразу следы.

— Следы были?

Она помолчала.

— Были, — призналась она неохотно. — Утром. Я пошла с дедом Ронкайненом проверить сети. Цепочка следов. От

деревни, вдоль берега, по льду, далеко, и обратно. Широкие такие. Дед сказал: валенки. Большие. Сорок второй, не меньше.

— Призраки в валенках не ходят, Ушакова.

Она посмотрела на него. И вдруг засмеялась. Впервые за два дня. Коротко, удивлённо, будто сама не ожидала. Смех у неё был неожиданно звонкий, девчоночий, и он отразился от валунов и улетел над озером.

— Я тогда тоже так подумала, — сказала она, отсмеявшись. — Потом. Лет в четырнадцать. Что это кто-то из деревни ходил. А бабушке не сказала. Бабушка расстроилась бы. Ей нужно, чтобы была Белая сестра.

— Почему?

Ушакова долго не отвечала. Смотрела на озеро.

— Потому что если есть Белая сестра, — сказала она наконец, — значит, никто не виноват. Значит, это озеро забирает. Судьба. А если её нет, значит, кто-то. Человек. И тогда надо его найти. А если не нашли, значит, плохо искали.

Она сунула руки в карманы куртки.

— С сестрой проще жить.

Гордеев ничего не ответил. Он думал о том, что за двое суток эта девочка в форме не по размеру уже второй раз сказала то, что он сам думал годами и не умел сказать.

Они постояли ещё. Потом ветер поднялся, швырнул в лицо горсть колючего снега, и Ушакова сказала: «Поехали». И они пошли к машине.

Он оглянулся один раз. На озеро. На белое, на полпути к санаторию.

Там никого не было.

Возвращались в сумерках, хотя было всего три часа. Ушакова молчала, сжимая руль. Потом сказала:

— Лосева приехала из-за неё. Из-за Лиды. Это не совпадение.

— Нет. Не совпадение.

— Значит, она что-то искала в архиве про восемьдесят шестой.

— Значит.

— И кто-то не хотел, чтобы она нашла.

Гордеев не ответил. Он смотрел в окно на лес, который проплывал мимо, чёрный, сплошной, без просвета.

У ворот санатория их ждала Нина. Без шапки, в накинутом на плечи пуховике. Увидела «уазик» и шагнула навстречу.

— Наконец-то. Я звонила, вы недоступны.

— Связи нет на трассе. Что случилось?

— Папа. — Она запнулась. — Папа с обеда сидит в архиве. Заперся изнутри. Я стучала, он не открывает. Говорит, работает, не мешай. Он туда десять лет не спускался, Илья Андреевич. Десять лет.

Гордеев вышел из машины. В подвальном окне архива, низком, вровень с сугробом, горел свет.

За стеклом мелькнула тень. Потом свет погас.

Глава 5. Письма без подписи

В архив вела бетонная лестница из бокового коридора, шестнадцать ступеней вниз. Внизу дверь, обитая жестью. За дверью тишина.

Гордеев постучал. Потом ударил ладонью.

— Аркадий Семёнович. Откройте.

Тишина. Потом шаги. Шаркающие, медленные. Лязгнул засов. Ещё один засов, подумал Гордеев. Весь этот дом держится на засовах.

Брагин стоял в проёме, без жилета, в рубашке с закатанными рукавами. Седые волосы растрёпаны. На руках серая пыль, до локтей. За его спиной было темно. Свет он так и не включил.

— Я работал, — сказал он.

— В темноте?

— Свет вредит бумаге. Я светил фонарём. — Он поднял руку, показал фонарик-ручку. — Хотел вам помочь. Найти, с чем работала Вера Сергеевна. Её опись.

— Нашли?

— Нет. Здесь тридцать тысяч единиц хранения. Без описи ничего не найдёшь.

Гордеев нащупал на стене выключатель. Под потолком, гудя, одна за другой зажглись длинные лампы.

Архив был длинным, низким помещением с бетонными

колоннами. Стеллажи до потолка, металлические, крашенные зелёной краской. На стеллажах картонные коробки, тысячи коробок, на торцах надписи от руки: годы, буквы, номера. Пахло сухой бумагой, мышами и холодом. Батарей не было, только тепловентилятор у дальней стены, выключенный.

У вентилятора стоял стол Веры. Сканер, лампа, лупа на подставке, перчатки. Аккуратная стопка папок, переложенных листками с её пометками. Всё было ровно, подогнано друг к другу, как тапочки у её кровати.

Около стола, на полу, стояли три коробки. Открытые. Крышки рядом.

— Это вы? — спросил Гордеев.

— Я смотрел, что она брала.

— Что в них?

— Истории болезней. Восьмидесятые годы.

— Какой именно год?

Брагин помолчал.

— Разные.

Гордеев подошёл. На торцах коробок фломастером было написано: «1985. Л—М». «1986. А—Д». «1986. К—Л». Последняя была почти пуста. В ней лежали четыре тонкие папки, сдвинутые к одному краю, будто из середины что-то вынули.

— Чего не хватает?

— Не знаю. Может быть, ничего. Опись делала она.

— Где опись?

— Наверное, в её ноутбуке.

Гордеев выпрямился. Посмотрел на Брагина. Тот стоял, держа перед собой пыльные руки, как хирург перед операцией. И глаза у него были такие же: внимательные, усталые, ничего не выражающие.

— Аркадий Семёнович, я опечатываю архив. До приезда экспертов сюда никто не входит. Ни вы, ни ваша дочь. Ключи у кого?

— У меня. И у Нины. И один у сторожа, на всякий случай.

— Все три мне.

Брагин кивнул. Медленно опустил руки.

— Вы думаете, я что-то скрываю, — сказал он. Не вопрос.

— Я думаю, что вы десять лет сюда не спускались. А сегодня, на второй день после того, как пропала женщина, четыре часа сидели здесь в темноте.

— Мне шестьдесят семь лет, Илья Андреевич. Когда в твоём доме пропадает человек, ты хочешь хоть что-нибудь сделать. Даже бессмысленное. — Брагин пошёл к лестнице. На первой ступеньке обернулся. — Вы этого не поймёте. Вы молоды. У вас ещё всё бессмысленное впереди.

Он ушёл. Гордеев остался стоять между стеллажами. Тридцать тысяч единиц хранения. Тридцать тысяч чужих болезней.

Ушакова принесла из машины пломбы и бумажную ленту. Они опечатали дверь. Гордеев расписался на ленте. Ушако-

ва тоже. Её подпись была длинной, с завитком, неожиданно кокетливой.

Чемодан Веры стоял под кроватью в тринадцатой комнате. Утром они его не заметили: подзор покрывала доходил до пола. Ушакова его нашла, когда пришла в комнату за ноутбуком, чтобы отвезти его в район, когда откроют дорогу.

Чемодан был тёмно-зелёный, на колёсиках, с потёртыми углами. Не заперт. Внутри аккуратно: свитера, бельё, косметичка, пакет с лекарствами от головной боли и давления. Две книги: справочник по реставрации бумаги и «Белая гвардия» с закладкой на середине. Зарядка от ноутбука, запасная.

Гордеев провёл рукой по подкладке. В кармашке на молнии, плоском, внутри крышки, что-то было. Он расстегнул молнию.

Три конверта. Обычных, почтовых, с маркой. Адрес написан от руки печатными буквами: Москва, улица такая-то, Лосевой В. С. Обратного адреса нет. На всех трёх один и тот же почтовый штемпель, круглый, бледный.

— Ушакова. Прочтите.

Она взяла конверт, поднесла к лампе.

— «Хийтола. Республика Карелия». — Подняла глаза. — Это наша почта. Деревенская.

Внутри каждого конверта был один листок. Машинопись. Без даты, без обращения, без подписи.

Материал дела М5.
Три анонимных письма

Письмо 1 (штемпель: август)

Вы хотите знать правду о Лиде К. Правда лежит в Светлом сорок лет. Никто не придёт за ней, если не придёте вы.

Письмо 2 (штемпель: сентябрь)

В санатории есть то, что вам нужно. Ищите в подвале. Март восемьдесят шестого. Приезжайте одна. Никому не говорите, кто вы. Он помнит её лицо. Он узнает ваше.

Письмо 3 (штемпель: октябрь)

Времени мало. Если вы не приедете до зимы, я унесу это с собой. Не бойтесь меня. Бойтесь того, что найдёте.

Описание оригинала. Три листа машинописи на пожел-

тевшей бумаге в клетку. Шрифт старой пишущей машинки. Буква «е» в каждом слове чуть выше строки, будто подпрыгивает.

Письмо 1 *(штемпель: август)*

Вы хотите знать правду о Лиде К. Правда лежит в Светлом сорок лет. Никто не придёт за ней, если не придёте вы.

Письмо 2 *(штемпель: сентябрь)*

В санатории есть то, что вам нужно. Ищите в подвале. Март восемьдесят шестого. Приезжайте одна. Никому не говорите, кто вы. Он помнит её лицо. Он узнает ваше.

Письмо 3 *(штемпель: октябрь)*

Времени мало. Если вы не приедете до зимы, я унесу это с собой. Не бойтесь меня. Бойтесь того, что найдёте.

Гордеев прочитал каждое письмо дважды. Потом разложил листы на столе рядом. Буква «е» прыгала в каждом слове. «Хотите». «Лежит». «Светлом». «Ее». Чуть выше остальных, как плохо пригнанная клавиша.

— Угрозы, — сказала Ушакова. Голос у неё был тише обычного.

— Не похоже.

— «Бойтесь того, что найдёте».

— Это предупреждение. Угрожают по-другому. Угрожают «не приезжайте». А тут «приезжайте». Три раза. Её звали.

— Кто?

— Кто-то, кто знает про Лиду К. Кто был тогда здесь. Кто живёт в Хийтоле. И у кого есть пишущая машинка.

Ушакова медленно положила листок.

— В Хийтоле пятнадцать домов, — сказала она. — Из них жилых одиннадцать. В восьмидесятом шестом здесь работали… Бабушка не работала. Повариха умерла. Значит…

Она не договорила.

— Значит, — сказал Гордеев.

— «Он помнит её лицо», — прочитала Ушакова. — Кто «он»?

Гордеев вспомнил, как сегодня утром на лестнице рука Брагина соскользнула с перил.

— Человек, который тоже был здесь тогда.

Он аккуратно сложил письма обратно в конверты, конверты в пакет для улик. Заклеил. Подписал.

— Завтра, — сказал он, — поговорим с Тамарой Ильиничной.

— А сегодня?

— А сегодня я хочу понять, что Лосева делала вечером. До того, как ушла.

Он подошёл к столу. Два блокнота. Он открыл первый. Плотные страницы, исписанные мелким наклонным почерком: инвентарные номера, годы, пометки «сырость», «плесень, 2 ст.», «реставр. не треб.». Рабочие записи. Последняя страница: опись какой-то коробки, оборванная на середине.

Второй блокнот был тоньше. Личный. Он понял это по первой же странице: там был нарисован карандашом корпус с колоннами, неумело, как рисуют дети. Сосна, как рыбья

кость. Озеро.

Он перелистал. Записи без дат, обрывками. «Бабушка говорила: в пальто с поясом». «Спросить Н. про архив». «Т. И.?» «Тринадцатая! Специально попросила, Н. удивилась». «Он смотрит на меня за ужином. Узнал? Не может быть, мне было год».

Последняя исписанная страница была почти пуста. Только сверху: «Ш.! Чертёж 52 г. Проверить». И всё. Дальше чистые листы.

А первый чистый лист был вырван. Неровно, у самого корешка остался зубчатый край.

Гордеев поднёс блокнот к лампе и наклонил. На следующем листе, чистом, белом, проступали едва заметные вдавленные линии. Кто-то писал на вырванной странице, и сильно нажимал.

— Ушакова, — сказал он. — У вас есть простой карандаш?

Глава 6. Оттиск

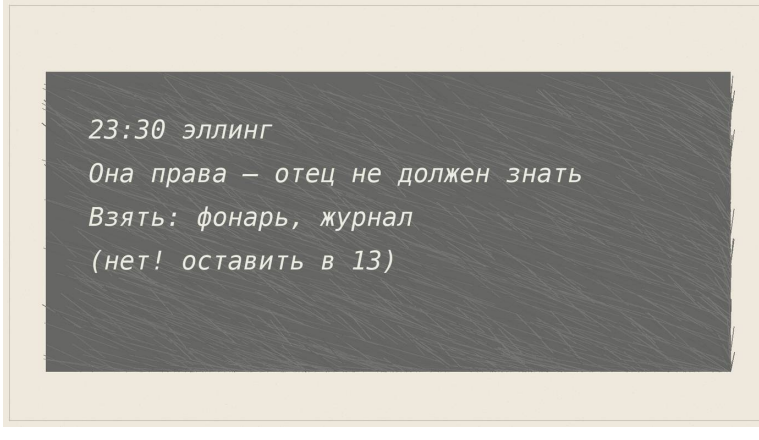
Карандаш у Ушаковой был. Конечно был. Простой, твёрдо-мягкий, заточенный ножом, с погрызенным концом.

Гордеев положил грифель почти плашмя и повёл по листу. Лёгкими штрихами, сверху вниз, не нажимая. Серое пятно расползлось по белому. В сером, как в проявителе, начали проступать белые линии. Буквы. Цифры.

Ушакова дышала ему в плечо.

Он заштриховал весь лист, до края. Отодвинул лампу, чтобы свет падал сбоку. Прочитал.

Материал дела М4. Оттиск записки



Описание оригинала. Лист блокнота, заштрихованный простым карандашом. На сером фоне белым проступают вдавленные строки, написанные быстрым наклонным почерком Веры. Часть букв размыта.

23:30 эллинг Она права — отец не должен знать Взять: фонарь, журнал (нет! оставить в 13)

В комнате было тихо. За окном шуршал по стеклу снег, мелкий, сухой, уже не метель.

— Двадцать три тридцать, — сказала Ушакова. — Эллинг. Она пошла туда сама. Ей назначили встречу.

— «Она права», — сказал Гордеев. — Значит, звала женщина.

— Автор писем.

— Возможно.

— «Отец не должен знать». Чей отец?

Гордеев смотрел на строчку.

— Не знаю. Может быть, её собственный. Может, она про себя: что её отец не должен знать, куда она поехала. Может быть, это вообще не про человека.

— А про кого?

— Есть такое выражение. «Отец» — это главный. Начальник. Директор.

Ушакова кивнула медленно.

— Брагин.

— Возможно.

— Вы всё время говорите «возможно».

— Потому что всё возможно, Ушакова. Пока не доказано обратное.

Она снова посмотрела на лист.

— «Журнал. Нет. Оставить в тринадцать». Какой журнал?

— Тот, который она нашла. Который кто-то искал в её комнате позавчера. Который кто-то, может быть, искал сегодня в архиве.

— Оставить в тринадцатой. Значит, он здесь, в комнате?

Они переглянулись. Потом, не сговариваясь, начали снова.

В этот раз искали так, как ищут при обыске, не при осмотре. Матрас. Подушка, наволочка, под наволочкой. Ящики стола, вынутые до конца, днища снизу. Шкаф, полки, каждое одеяло развёрнуто. Чемодан, подкладка, каждый шов. Книги, корешки. Плинтус. Решётка вентиляции. Батарея, за батареей.

Журнала не было.

— Не тринадцатая комната, — сказал Гордеев, когда они сели на пол среди развороченных вещей. — Тринадцать. Просто тринадцать. Что угодно может быть тринадцатым.

— Коробка в архиве, — сказала Ушакова. — Дело. Номер на полке. Страница.

— Ящик на почте. Сосна на берегу. Тринадцатая ступенька.

— Тринадцатая скоба.

Он посмотрел на неё.

— Какая скоба?

— Не знаю. — Она смутилась. — Просто сказала. Как на пожарной лестнице. Скобы.

Гордеев встал. Подошёл к окну. Окно было заклеено, и лестницы за ним никакой не было, только стена, гладкая, крашеная.

— Ладно, — сказал он. — Утром архив. Тринадцатые коробки, тринадцатые полки. Всё, что тринадцать.

В девятом часу внизу хлопнула дверь. Потом голоса.

Мужской, громкий, уверенный. И Нинин, тихий.

Гордеев спустился в холл. Ушакова за ним.

В холле, под мозаикой с оленем, стоял мужчина. Крупный, лет сорока, в распахнутой дорогой куртке, из-под которой виднелся свитер с высоким горлом. Короткая стрижка, гладко выбритое лицо, на запястье часы, которые стоили больше, чем «уазик» Ушаковой. Он отряхивал снег с ботинок, топая по старому паркету, как у себя дома.

— А, власть, — сказал он, увидев Гордеева. Улыбнулся. Улыбка была широкая и ничего не стоила. — Ветров. Олег Викторович. Грейдер до Лахденпохьи пробил, я сразу к вам. Нина позвонила, рассказала. Какой ужас. Я могу чем-то помочь?

— Можете. Пятнадцатого вы здесь были.

Улыбка чуть уменьшилась.

— Был. Пятнадцатого был. Приехал вечером, к Аркадию Семёновичу, по делу.

— Какому?

— Деловому. — Ветров развёл руками. — Слушайте, я не скрываю. Я хочу купить эту землю. Санаторий, территорию, берег. Тут будет хороший загородный клуб. Коттеджи, причал, ресторан. Финны будут ездить, наши из Питера. Работа для деревни. Я третий год с Аркадием Семёновичем разговариваю. Он упирается.

— Почему?

— Спросите его. Память, сорок лет жизни, всё такое. Я

понимаю. Я уважаю. Но здание гниёт, денег нет, персонал разбежался. Рано или поздно продаст. Не мне, так банку.

Нина стояла у стойки администратора и смотрела в пол.

— С Лосевой вы встречались?

— С кем?

— С Верой Сергеевной. Пропавшей.

Ветров поморщился.

— Видел. Пятнадцатого, за ужином. Она ужинала с нами. Аркадий Семёнович, Нина, она и я. Неловкий был ужин, честно говоря.

— Почему?

— Она всё время спрашивала. Про историю санатория. Про старое. Кто тут работал, кого лечили. Аркадий Семёнович злился, я видел. Журналистка, думаю. Или из какого-нибудь фонда. Сейчас модно копать старое. — Он пожал плечами. — Мне-то что. Мне главное, чтобы она в газету ничего не написала. Знаете, «на месте санатория, где в советское время случилась трагедия, построят элитные коттеджи». Мне такой пиар не нужен.

— Какая трагедия?

Ветров запнулся. Буквально на секунду.

— Ну, местная легенда. Девушка какая-то утонула. Мне Нина рассказывала. Все тут знают.

Гордеев посмотрел на Нину. Нина подняла глаза и сразу опустила.

— Во сколько вы уехали пятнадцатого?

— Около десяти. Может, раньше. Через Лахденпохью, там дорога лучше. Можете проверить, там пост, всё пишут.

— Проверим.

— Проверяйте. — Ветров снова улыбался. — Я законопослушный гражданин. У меня пропуск, у меня бизнес, у меня жена в Питере и двое детей. Мне эти проблемы вообще ни к чему.

— Где вы ночуете сегодня?

— Здесь, если пустят. Нина, найдётся комната?

Нина кивнула, не поднимая глаз.

— Пятая свободна.

— Отлично. Тогда до утра. — Ветров хлопнул себя по коленям, как после хорошей сделки. — Если что, я на связи. Найдётся она, вот увидите. Загуляла где-нибудь. Женщины.

Он пошёл к лестнице. Ушакова смотрела ему вслед с таким выражением, будто увидела на полу что-то, во что наступила.

Нина задержалась у стойки. Перебирала ключи на щитке, хотя все ключи висели на своих местах.

— Он неплохой, — сказала она, не оборачиваясь. — Олег. Он просто так говорит.

— Вы рассказали ему про утопленницу?

— Давно. Год назад, наверное. Когда он первый раз приехал. Он спросил, почему у мостков никто не купается. Я рассказала. Это же все знают.

— Ваш отец хочет продавать?

— Нет.

— А вы?

Она обернулась. Посмотрела прямо, и Гордеев впервые заметил, какие у неё глаза: серые, чуть зеленоватые, как вода у берега весной.

— Я тут выросла, Илья Андреевич. Я тут каждый угол знаю. Каждую трещину. Мама умерла здесь, в седьмой палате, когда мне было девять. Папа отдал этому дому сорок лет и ничего не получил. Ни денег, ни благодарности. Только этот дом. А дом гниёт. — Она помолчала. — Я не знаю, чего я хочу. Я хочу, чтобы папе было хорошо. И чтобы Вера нашлась.

Она взяла с полки ключ от пятой комнаты и пошла к лестнице.

Ушакова дождалась, пока стихнут шаги.

— Седьмая палата, — сказала она. — Вы в седьмой живёте.

— Я заметил.

— Вам не страшно?

— Ушакова. Мне в этом доме страшно только одно.

— Что?

— Что я опять ошибусь.

Она ничего не ответила. Достала свой блокнот, открыла, посмотрела на записи. Потом закрыла.

— Отец не должен знать, — сказала она тихо, будто сама

себе. — А у Нины отец есть.

— У многих есть отцы, Ушакова.

— Я знаю. Я просто говорю.

Гордеев поднялся к себе. Лёг, не раздеваясь. Положил на грудь заштрихованный лист из блокнота. Белые буквы на сером. «Она права». «Отец не должен знать».

Он уснул, так и не решив, что они значат. И во сне видел, как по белому озеру идёт женщина в синем пальто с поясом и не оставляет следов.

Ушакова не спала.

Ей отдали девятую комнату, бывшую кладовую, через стену от пятой. Там стояла раскладушка, тумбочка и стеллаж с пыльными коробками каких-то бланков. Батарея грела еле-еле. Ушакова лежала в спальнике поверх раскладушки, в куртке, и смотрела в потолок.

За стеной ходил Ветров. Она слышала его шаги, тяжёлые, уверенные. Слышала, как он говорит по телефону, громко, по-хозяйски: «Да. Да. Нет, ещё здесь. Не отпускает. Да чёрт его знает». Слышала, как он включил телевизор, переключал каналы, выключил.

Потом стало тихо.

Она закрыла глаза. Думала про оттиск. «Отец не должен знать». Про то, что Гордеев сказал: «У многих есть отцы». Про то, как он смотрел на Нину у стойки администратора. Как смотрят не на подозреваемую. Она это видела. Она не

знала, что с этим делать.

В половине первого за стеной тихо постучали.

Ушакова открыла глаза.

Дверь пятой открылась. Шёпот. Женский. Дверь закрылась.

Ушакова лежала неподвижно. Потом медленно, стараясь не шуршать спальником, села. Встала. Подошла к стене. Прислонилась ухом к старым обоям в цветочек.

Стены в санатории были толстые, сталинские. Но здесь, между кладовой и пятой, когда-то была смежная дверь, и её потом заложили кирпичом в полкирпича. Ушакова этого не знала. Она просто услышала.

— …не надо было приезжать, — шептала Нина. Быстро, зло. — Ты с ума сошёл. Здесь следователь. Здесь полиция.

— А что мне было делать? — Ветров тоже шептал, но шёпот у него был громкий, сиплый, как у человека, который не привык говорить тихо. — Ты трубку не берёшь второй день. Я что, должен в Питере сидеть и гадать?

— Я сказала: решу.

— Ну и как, решила?

Пауза. Долгая.

— Её нет, — сказала Нина. Совсем тихо. Ушакова едва разобрала.

— Я знаю, что её нет. Вся деревня знает. Я спрашиваю: это ты…

— Замолчи.

— Нина…

— Замолчи! — Шёпот сорвался почти на крик. Потом снова упал. — Я ничего не знаю. Понял? Ничего. Её нет. Может, ушла. Может, утонула. Может, Белая сестра забрала. Я не знаю. И ты не знаешь. И ты сюда больше не звонишь по ночам. И не приезжаешь.

— А мои три миллиона?

— Будут тебе твои три миллиона. Когда папа подпишет.

— А он подпишет?

Снова пауза.

— Теперь подпишет, — сказала Нина. И в голосе у неё было что-то такое, от чего у Ушаковой по спине прошёл холодок. Не злость. Не страх. Усталость. Как будто она очень долго несла что-то тяжёлое и вот поставила. — Теперь ему незачем держаться за этот дом.

Дверь пятой открылась. Шаги. Лёгкие, в носках. Мимо девятой, по коридору, к лестнице. Стихли.

Ушакова стояла у стены, прижавшись ухом к обоям в цветочек, и не дышала.

Потом медленно вернулась к раскладушке. Села. Достала из кармана куртки блокнот и огрызок карандаша. Включила фонарик на телефоне, прикрыв его ладонью.

И записала. Слово в слово, что смогла вспомнить. Своим мелким ровным почерком. С датой и временем.

«18.11. 00:32. Брагина Н. у Ветрова О. (комн. 5). Слышала через стену. Ветров: „это ты…“ Брагина: „Замолчи. Я ничего

не знаю“. О деньгах: „Будут, когда папа подпишет“. „Теперь подпишет. Теперь ему незачем держаться за этот дом“».

Она перечитала. Посмотрела на последнюю фразу. «Теперь ему незачем».

Это могло значить что угодно.

Это могло значить только одно.

Она подумала, что надо пойти к Гордееву. Прямо сейчас. Разбудить.

Потом подумала, как это будет выглядеть. Участковый. Подслушивала через стену. Ночью. Без понятых, без записи, без ничего. Пересказывает своими словами. А он смотрит на неё тем взглядом, каким смотрел в первый день, когда она начала про тринадцатые дела. «Не надо мне про бабкины сказки».

И ещё она подумала про то, как он смотрел на Нину у стойки.

Она закрыла блокнот. Утром, решила она. Утром скажу. Когда будет светло. Когда будет время подобрать слова.

Через три часа она увидит, как он поднимается по лестнице после ночи на кухне. С тем лицом, какое бывает у мужчин, которые только что где-то были не одни. И всё равно скажет. Потому что это её работа, а не его лицо.

Но этого она ещё не знала. Она лежала в спальнике в бывшей кладовой, слушала, как за стеной ворочается на кровати Ветров, и держала в руке блокнот.

Заснула под утро. С блокнотом в руке.

1986. Тамара. Чужие ампулы

Тамара Ильинична Орлова печатала по вечерам.

Дома, в Хийтоле, на кухне, под лампой с зелёным абажуром. Машинка «Москва» досталась от отца, который был в районе секретарём сельсовета и печатал на ней протоколы. Машинка была старая, тяжёлая, как чугунный утюг. Буква «е» в ней западала и била чуть выше строки, и все отчёты, которые Тамара за небольшие деньги перепечатывала для санатория, выходили с прыгающим «е». Главврач ворчал. Потом перестал. Других машинок в Хийтоле не было.

Она печатала, а за окном стояла мартовская ночь, и в стекле отражалась она сама. Тридцать четыре года. Крупная. Некрасивая. Это слово она сказала себе сама, давно, лет в шестнадцать, и с тех пор просто приняла, как принимают погоду.

Ей нравился Аркадий Семёнович. Нравился так, что она боялась его имени. Не говорила его вслух даже дома. Когда он входил в процедурную, у неё начинали дрожать руки, и она прятала их в карманы халата, а потом злилась на себя весь день. Он этого не замечал. Он ничего не замечал, кроме своей работы. Это ей тоже в нём нравилось.

В тот день был четверг. Тамара задержалась после смены: надо было пересчитать перевязочный материал, завхоз

опять напутал в накладных. Когда она вышла через служебный вход, уже смеркалось.

У гаража стояла чужая машина. Серая «Волга» с ленинградскими номерами. Рядом с машиной стоял Аркадий Семёнович и незнакомый мужчина в дублёнке и пыжиковой шапке. Мужчина открыл багажник и достал картонную коробку. Небольшую, с обувную. Передал Аркадию.

Тамара остановилась за углом. Сама не знала, зачем. Ноги остановились сами.

— Тут сорок, — сказал мужчина. — Больше нет. Это из пробной партии, им ещё два года испытаний. Ты понимаешь, что это под мою голову?

— Понимаю.

— Никаких записей. Никаких отчётов. Если что-то пойдёт не так, я тебя не знаю.

— Что может пойти не так? Ты сам говорил: в Швеции результаты блестящие. Восемьдесят процентов.

— В Швеции, Аркаша. — Мужчина захлопнул багажник. — Мы не в Швеции.

Они пожали руки. Мужчина сел в «Волгу». Машина развернулась, мазнув фарами по сугробам и по углу, за которым стояла Тамара. Она прижалась к стене. Свет прошёл мимо.

Аркадий Семёнович постоял, держа коробку обеими руками. Потом сунул её под пальто и быстро пошёл к корпусу. Прошёл в двух метрах от Тамары. Не заметил.

Он её никогда не замечал.

На следующее утро коробка стояла в шкафу в процедурной. На нижней полке, за стерильными биксами, задвинутая в угол. Тамара нашла её случайно, когда доставала бинты.

Она открыла крышку. Ампулы, четыре ряда по десять, в гнёздах из серого картона. Тёмное стекло. Наклейки на латинице, не по-русски и не по-английски. Номер партии. Внизу от руки, синими чернилами, чей-то торопливый почерк: «Exp.» и цифры.

Никакой накладной. Никакой печати аптеки. Никакого рецептурного бланка.

Тамара закрыла коробку. Задвинула обратно, за биксы, точно так же, в угол. Поставила бинты на место.

Потом долго стояла посреди процедурной и смотрела в окно. На скамейке у входа сидела та, московская, Корнеева, в одеяле. Рядом поварихин Стёпка. Они что-то рисовали в тетрадке, склонив головы друг к другу, и московская смеялась.

Вчера вечером Аркадий Семёнович тоже смеялся. В тринадцатой палате, во время обхода. Тамара проходила по коридору и слышала через дверь. Он смеялся так, как не смеялся никогда, ни с кем. Ни с ней.

Она хотела спросить его про коробку. Хотела весь день. Сказать: Аркадий Семёнович, что это, откуда, где документы. Это было бы правильно. Это было бы по инструкции. Это была её прямая обязанность как старшей процедурной сест-

ры.

Вечером он зашёл в процедурную. Один. Снял с крючка стерильный халат.

— Тамара Ильинична, вы не видели, у нас были пятиграммовые шприцы?

— Во втором ящике.

— Спасибо. — Он улыбнулся ей. Быстро, рассеянно, как улыбаются мебели, когда задевают её плечом. — Что бы я без вас делал.

Он взял шприцы. Ушёл.

Тамара осталась стоять у шкафа. Внутри было тихо и пусто. И почему-то очень спокойно. Будто она уже решила, а решила не она.

Она ничего не спросила.

Дома, ночью, она печатала квартальный отчёт. Количество койко-дней. Количество процедур. Расход медикаментов по статьям. Пальцы били по клавишам ровно, привычно, без ошибок. Буква «е» прыгала, как всегда.

В графе «Прочие медикаменты» она поставила прочерк.

Потом выключила лампу и долго сидела в темноте.

Она не знала тогда, что будет потом. Она знала только, что если спросить, он посмотрит на неё по-другому. Не рассеянно. По-настоящему. Холодно. И больше никогда не скажет: «Что бы я без вас делал».

Ей было тридцать четыре года. Через сорок лет она бу-

дет сидеть за той же машинкой, на той же кухне, и печатать совсем другие слова. Чужим людям, по чужому адресу. Без подписи.

Но это будет через сорок лет. А сейчас был март, и за окном падал тихий снег, и до той ночи оставалось девять дней.

Глава 7. Звонок из Петрозаводска

Телефон завибрировал в 3:07.

Гордеев проснулся сразу, как просыпаются люди, которые давно не спят по-настоящему. Лист с оттиском соскользнул с груди на пол. В комнате было темно и холодно: батарея к ночи остывала, котельная работала вполсилы.

Номер был незнакомый. Сообщение короткое.

«Не спится, начальник? А мне отлично спится. Каждую ночь. Савельев».

Он долго смотрел на экран. Буквы светились в темноте, белые, ровные.

Савельев. Лесопилка в Пудоже. Сторож, которому проломили голову монтировкой за двести литров солярки. Год работы. Свидетель, водитель лесовоза, который видел, как Савельев выходил из бытовки с монтировкой в руках, в половине двенадцатого ночи, при свете прожектора. Видел и рассказал. Подписал протокол. Повторил на очной ставке, глядя Савельеву в глаза. А за неделю до суда пришёл к адвокату и сказал, что в тот вечер выпил. Что не уверен. Что было темно. Что, может быть, это был кто-то другой.

Присяжные совещались три часа.

Он помнил всё. До мелочей. Так помнят аварию, в которую попал сам.

Верховный суд Карелии, зал номер четыре, третий этаж.

Сентябрь. За окнами Онего, серое, в белых барашках. Двенадцать присяжных на двух скамьях у стены: учительница, пенсионер с орденской планкой, двое молодых парней в одинаковых худи, продавщица, медсестра, водитель маршрутки. Гордеев запомнил их всех. Он потом ещё долго видел их во сне.

Свидетель вошёл в зал последним. Водитель лесовоза, Кондратьев, сорок пять лет, двое детей. Тот, кто год назад, на очной ставке, глядя Савельеву в глаза, сказал: «Это он. Я видел. С монтировкой. Из бытовки. В половине двенадцатого. Прожектор горел, светло было, как днём».

Теперь он стоял за трибуной и смотрел в пол. Не на Савельева. Не на присяжных. Не на Гордеева. В пол. На старый паркет, на трещину между досками.

«Я в тот вечер выпил, — сказал он. — Бутылку. Один. В кабине. Я был пьяный. Я не уверен, кого видел. Было темно. Может, это был кто-то другой».

«Прожектор горел?» — спросил прокурор.

«Не помню».

«На очной ставке вы сказали, что было светло, как днём».

«Я ошибся».

«Почему вы не сказали об этом раньше? Год назад?»

Кондратьев молчал. Долго. Потом сказал, не поднимая глаз:

«Боялся, что меня самого посадят. За пьянку на работе».

Адвокат Савельева, пожилой, седой, с мягким голосом,

встал и сказал присяжным: «Уважаемые присяжные. Обвинение построено на показаниях одного человека. Этот человек только что сказал вам, что был пьян и не уверен. Больше у обвинения ничего нет. Ни отпечатков на монтировке, её так и не нашли. Ни следов крови на одежде подсудимого. Ни признания. Ничего, кроме уверенности следователя. Но уверенность следователя, уважаемые присяжные, это не доказательство».

Гордеев сидел в зале, во втором ряду, и смотрел на Савельева. Савельев сидел в клетке, спокойный, гладко выбритый, в чистой рубашке. Поймал его взгляд. И улыбнулся. Едва заметно. Одними уголками губ.

Так улыбаются люди, которые знают, что выиграли, задолго до того, как это объявят.

Три часа. Потом старшина присяжных, та самая учительница, встала и прочитала с листа, чуть дрожащим голосом: «Доказано ли, что подсудимый Савельев совершил… Нет, не доказано».

Савельева освободили в зале суда.

На ступенях здания, на ветру, прокурор, старый, усталый, закурил и сказал Гордееву, не глядя на него: «Ты был уверен, Илья. Я знаю. Я тоже был уверен. Но мы с тобой не присяжные. Нам верить не положено. Нам положено доказывать. А ты не доказал. Ты поверил свидетелю. И свидетель тебя сдал».

Он докурил, бросил окурок в урну и ушёл.

Через месяц Гордеева перевели в Сортавалу. Через два месяца ушла жена. Не из-за этого, она давно собиралась. Но после этого стало как-то не за что держаться. Она забрала кошку и половину книг и сказала в дверях: «Ты всегда был женат на работе. Теперь у тебя и работы нет». Это было несправедливо. И точно.

Курить он бросил в день перевода. Просто чтобы доказать себе, что хоть что-то в жизни ещё может решить сам.

Гордеев до сих пор не знал, кто дошёл до водителя за ту неделю. Кто и что ему сказал. Он знал другое: он был уверен. Тогда был уверен, на очной ставке. И сейчас был бы уверен, если бы ему разрешили себе верить.

Но уверенность не доказательство. Этому его тоже учили. Учили так хорошо, что теперь он ни в чём не был уверен.

Он набрал: «Спи». Посмотрел на это слово. Стёр.

Встал. Оделся. Вышел.

Кухня была на первом этаже, за столовой. Большая, гулкая, кафельная, рассчитанная на двести пациентов. Огромные котлы, накрытые фанерой. Разделочные столы, обитые цинком. В углу у окна маленький холодильник, электрический чайник и стол на четверых. Здесь, в этом углу, теперь умещалась вся жизнь санатория.

За столом сидела Нина.

В толстом халате поверх пижамы, в шерстяных носках, поджав ноги на стуле. Перед ней кружка. Она не пила, толь-

ко держала её двумя руками, как в первый день. Лампа над столом светила жёлто и тускло, и всё остальное помещение тонуло в темноте.

Она подняла глаза. Не удивилась.

— Не спится? — спросила она.

— Не спится.

— Чайник горячий.

Он налил себе. Сел напротив. Чай был крепкий, чёрный, с привкусом железа: в санатории была своя скважина, вода из неё пахла болотом и камнем.

Они молчали. Где-то в темноте капал кран. Гордеев подумал, что в этом доме везде что-то капает. Будто дом медленно плачет и никак не может остановиться.

— Я всё время думаю, — сказала Нина. — Что если бы я тогда не ушла. В одиннадцать. Посидела бы с ней ещё. Она бы мне сказала. Куда собирается. Зачем.

— Вы не знали.

— Я должна была понять. Она весь вечер была какая-то не такая. За ужином. Олег её злил своими вопросами, папа молчал. А она смотрела на папу. Всё время. Я тогда подумала, что она в него влюбилась. — Нина невесело усмехнулась. — Глупо, да? Ему шестьдесят семь.

— Не глупо.

Она посмотрела на него.

— Вы думаете, это папа. Да? Вы думаете, папа что-то с ней сделал.

Гордеев не ответил сразу. Подбирал слова.

— Я думаю, что ваш отец что-то знает. И не говорит.

— Он всегда так. — Нина опустила глаза в кружку. — Всю жизнь. Мама говорила, что он как этот дом: снаружи колонны, а внутри подвал. Запертый. — Пауза. — Он не мог. Вы понимаете? Он лечит людей. Сорок лет. Он ночами сидел с умирающими, когда другие уходили домой. Он не мог.

— Где были вы? Той ночью. После одиннадцати.

Вопрос прозвучал резче, чем он хотел. Нина вздрогнула. Потом выпрямилась.

— У себя. Я же писала в заявлении.

— Кто-то может подтвердить?

— Кто? Папа спал. Он пьёт снотворное. Степан у себя. Вера…

Она осеклась. Потом вдруг полезла в карман халата и достала телефон.

— Подождите. Вот. Я Олегу писала. Голосовое. Я уже лежала, не могла уснуть и записала ему. Про продажу. Он весь вечер давил, я хотела, чтобы он отстал. Вот.

Она нашла сообщение и развернула экран к нему. Мессенджер. Чат «Олег Ветров». Голосовое сообщение, сорок две секунды. Время отправки: 23:36. Две синие галочки: прочитано.

— Можно послушать?

Она нажала.

Голос Нины, тихий, сонный, немного хриплый. «Олег, я

уже легла. Я поговорила с папой, он против. Категорически. Не дави на него сейчас, у него давление. Я сама. Дай мне время, ладно? Пожалуйста. Спокойной ночи». На фоне бубнил телевизор: какое-то вечернее шоу, мужской голос что-то говорил, взрыв смеха в студии, аплодисменты. Потом щелчок.

— Видите, — сказала Нина. — Я была у себя. В половине двенадцатого. Я смотрела телевизор и записывала Олегу.

Гордеев кивнул. Взял телефон, посмотрел на время ещё раз. 23:36. Сфотографировал экран своим телефоном.

— Можно я перешлю себе?

— Конечно.

Он переслал. Вернул телефон.

Гордеев снова посмотрел на время. Двадцать три тридцать шесть — время отправки. Если Нина тогда действительно была у себя, до эллинга ей не успеть. Но ни постели, ни самой Нины в комнате он не видел. Только слышал голос и телевизор.

Он почувствовал, как внутри что-то разжалось. Чуть-чуть. И это ему тоже не понравилось.

Он взял со стола бумажную салфетку и написал: «Голосовое 23:36. Установить время записи. Найти передачу». Сложил и убрал в нагрудный карман. Утром передаст Ушаковой: сохранить сообщение, разобрать фон, сверить эфир. Пока у Нины было объяснение, которое предстояло проверить.

Они сидели ещё долго. Говорили о каких-то пустяках. О

том, как здесь было летом, когда она была маленькая, и в санатории было четыреста отдыхающих, и на веранде по вечерам играл баянист. О Петрозаводске, где она училась на экономиста и бросила на третьем курсе, когда у папы случился первый инфаркт и санаторий остался без рук. О том, что она ни разу не была за границей, хотя до Финляндии сорок километров.

— А вы? — спросила она. — Почему вы в Сортавале? Вы же из города.

Он мог не отвечать. Он ответил.

Про лесопилку, про водителя, про три часа совещания присяжных. Про сообщение в 3:07. Он говорил ровно, коротко, как пишут рапорт, и сам удивлялся, что говорит. Он не рассказывал этого никому. Даже бывшей жене, которой, впрочем, было уже давно всё равно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.